

Георгий Пряхин

Интернат



12+

Георгий Пряхин

Интернат

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Пряхин Г. В.

Интернат / Г. В. Пряхин — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Одно из культовых советских произведений о юношестве. Печаталось в «Новом мире» с предисловием Чингиза Айтматова. Стало лауреатом различных литературных премий. Переведено на многие языки мира. Посвящено судьбе мальчишек и девчонок, рожденных в первые послевоенные годы и волею судеб оказавшихся практически без родительской опеки, но под суровым – и всё-таки крылом – государства.

ИНТЕРНАТ

Повесть

В этот городок езжу до сих пор, и так сложилась жизнь, что, наверное, буду ездить еще долго, до конца дней, хотя любая дорога чем чаще повторяется, тем она горше в конце концов.

Городок настолько мал, что откуда бы ни въехал, каждый раз проезжаешь мимо обнесённого штaketником трехэтажного кирпичного здания. С годами из ярко-красного оно становится темно-бурым, даже с лиловизной – медленный огонь времени потихоньку лижет и калит его. Такие же здания, с такими же заборами, в таких же местах – где-нибудь у въезда или выезда – стоят в сотнях городков России. Это школы-интернаты. Обычные школы тулятся поближе к домам, интернаты, как правило, на окраинах. В школах больше окон, стекла. В интернатах, построенных в основном в пору экономного классицизма, больше камня. Когда-то мы безоглядно гордились детскими домами и интернатами – они, казалось нам, свидетельствовали о росте и здоровье молодой страны. Сейчас мы как-то стесняемся их – как свидетелей неблагополучия.

После каждого потрясения в каменных домах остаются самые потрясенные: дети. В войну в них остались дети погибших, инвалидов и дети-инвалиды. На моей памяти в шестьдесят втором, после дагестанского землетрясения, интернат заговорил, залопотал, заплакал по-аварски, по-лакски, по-даргински. Волна ударила где-то далеко, под землей, но, начавшись там грозным ревом, докатилась и до нашего дома – плачем.

Он полон и сейчас. Когда бы ни проезжал, ни проходил мимо, двор за зеленым штaketником никогда не бывает пуст. Галдит, веселится, скучает. И каждый раз меня, как, наверно, и любого взрослого человека, у этих ворот поджидает тревожный вопрос: что привело сюда, на казенный интернатский двор, его неоперившихся постояльцев? Какой сбой случился в их юной, зачинающейся судьбе, и как она сложится позже?

И всякий раз невольно вспоминаю самого себя, собственную дорогу на этот двор, товарищей, с которыми делил и двор, и хлеб, и крышу над головой. Всмотреться в них, рассказать о них – не значит ли явственней увидеть и сегодняшних мальчишек и девчонок, собранных под участливым и тем не менее слишком просторный для одного – маленького – человека государственным крылом? И, может, осознанней, требовательнее отзовется в душе вечный вопрос взрослого человечества: что делать, чтобы наши дети были счастливее нас?

Откроем калитку.

ЗДРАВСТВУЙ, УЧИТЕЛЬ!

Стоял март. Желтый глиняный грейдер как тыквенная каша. Машины пробирались в ней ползком, на брюхе, раздираясь и разворачиваясь, безголосо плача – так ползут, оставляя черный след, большие изувеченные звери. Вокруг лежала весенняя степь. Еще до горизонта застекленная чистыми, «блискучими», как у нас говорят, тальми водами и сама такая же

чистая, стылая, порожняя. Неделя – бросит весна в это неживое равновесие вод горсть своих кислых дрожжей, и от моря до моря запрет, запыхтит, забродит степь.

И с ревом рухнут, отойдут воды, обнаружив младенческую плоть зеленого. Живого.

Через неделю. А пока мы с Екатериной Петровной толкаем грузовик – оказывается, этой машине не хватало наших слабых человеческих сил – через немое стоячее половодье. Весеннее солнце, которое везде – в небе, в воде, в самом воздухе, – летит нам в глаза вместе с грязью из-под колес.

Екатерина Петровна везла меня в интернат.

* * *

Екатерина Петровна была моей учительницей, и таких учителей я больше никогда не встречал. Странная это была учительница. Хотя «странная» – что-то романтическое, а она понятная, простецкая. До странности понятная. Была замужем за совхозным шофером Иваном Васильевичем, громадным цыганистым мужиком, он как раз сидел за рулем грузовика. По-разному звали шоферов в нашем селе: и Ваньками, и Иванами, и по фамилиям, сокращая их при этом чуть ли не до междометий, – моих дядек, тоже шоферов, звали, например, «Гуси» – с ударением на последнем слоге. А вот Иван Васильевич вроде Иваном Васильевичем и родился – для погодков, стариков, для мальчишек, даже для совхозного директора Туткина.

Село у нас большое, и на учительнице женат не один Иван Васильевич, а еще несколько шоферов (из всех немудреных сельских профессий, за вычетом, разумеется, руководящих, заезжим учительницам наиболее интеллигентной представляется профессия шофера. Да оно так и есть: дорога и учит, и обтесывает человека). По-разному они обращались с ними. Были и такие «обтесанные», что под пьяную руку поколачивали, «выделявали» своих городских жен, по известному выражению – «гоняли» их. Вплоть до самой школы, до учительской, в которой иная бедолага вынуждена была спасаться, как в крайней обители просвещенных нравов. Простые сельские бабы, сами частенько подвергавшиеся подобным гонениям, дружно, как меньшую, жалели неудачницу и при случае столь же дружно, стаяй, кололи глаза ее трезвому, неловко пытавшемуся отшутиться мужу. Не учительское дело – бегать огородами от мужика.

Иван Васильевич в школу глаз не казал – стеснялся, а жену даже так, в мужском незащипанном разговоре, называл Катей, без всяких прибавлений и эпитетов, может, потому, что в эпитетах не горазд. Обходилась как-то без них, именами существительными. Катя и все, хорошо так, спокойно. И дети у них тоже шли спокойно, хорошо. Когда я у нее учился, их уже было трое: две девочки и мальчик. Девочки были всеобщие сестрицы, девочки-заступницы, еще и потому, наверное, что их самих на улице никто не лупил, а мальчик был грудной. Вот только болели они часто. В такие дни войдет в класс Екатерина Петровна, Катя то есть, приткнется к столу и грустно так, без «здрасьте-садитесь», скажет:

– Опять заболели. Прямо замучились. Что делать? – спрашивает она у нас, и мы, шестнадцать гавриков, тоже грустно думаем: что же делать – хотя этот квелый утиный выводок был нам вроде до лампочки.

Где-то в седьмом классе мы все повлюблились, причем каким-то квадратно-гнездовым манером, потому что девочек было только шесть, а нас, мальчиков, десятеро. Ходили мы тогда по последней моде деревенской пацанвы: в форменных галифе, которые привозили со срочной службы старшие братья и родственники, и в кирзовых сапогах. (Летом свирепствовала мода на фут большие бутсы.) Стали самолюбивы, задиристы – может, сказывалась и наша полувоенная форма? – чуть что, кидались в драку. Бройлеры со шпорами. Дружеские связи в классе ослабели, каждый, может, впервые ощутил самого себя, прислушивался к себе. Приложил ухо, а там – елки-моталки! – волны, туманы, гудки... Море! А ведь мы и в куда более зрелом возрасте не торопимся признавать существование такого же моря в каком-нибудь субконтинентальном Иванове.

...И наше шестнадцатидушное человечество заштормило. Отношения в классе стали звинченные. Квадратно-гнездовая любовь росла болезненно и бодливо, как растут молодые рожки...

И тогда она сказала нам, что мы дураки.

Приткнулась к столу, поправила рыжий узел, из которого, как из литой, безукоризненно сработанной скирды, выбилась длинная, золотая, нежно блеснувшая на солнце соломинка (я думаю, своим узлом Катя наверняка кому-то подражала, пусть даже неосознанно. Он как будто связывал ее, молодую, сегодняшнюю, с дальней родней: народоволки, Надежда Крупская, первые учительницы советской власти, чья смутьянствующая женственность была тщательно упрятана, заточена в такие же медоносные узлы, повисавшие над тоненькими шейками, как разбухшие, готовые вот-вот сорваться вниз капли солнца под весенними стрехами. По крайней мере в моем сегодняшнем сознании она где-то в этом ряду, в этой родне).

– Вы дураки, – сказала Катя. – Человек, который чересчур торопится к неминуемой цели, многое пропускает в пути такого, что уже не воротится никогда. Что минует раз и навсегда нерассмотренным, неугаданным...

Вряд ли мы тогда что-то поняли из этих слов. Она и сама почувствовала это и сразу, без перехода, заговорила о другом – о своем детстве.

– Тогда, – рассказывала она, – мальчишки тоже носили галифе и в селе, и в городе. Но не из шика (тут, по-моему, Катя впадала в ошибку, типичную, когда люди одного поколения берутся судить о другом, младшем: не так сладко жилось и нам, и наши галифе по сути тоже были осознанной необходимостью – не пропадать же добру!), а потому что их отцы порой не успевали сносить фронтную одежду, умирали от ран и контузий. В сорок пятом во всем нашем квартале, – продолжала Катя, – не вернулся только мой отец, а уже в сорок шестом еще трое ребят схоронили отцов, переоделись в галифе и гимнастерки. Война навьючила на нас взрослые одежды, дела и даже горе тоже на вырост, но мы все равно жили весело. Зимой – после войны стояли богатые зимы – ходили на речку и делали там кучу-малу, катались с кручи. Не на санях – саней было мало. В корзинках. В две круглые плетеные корзины вмещался весь класс. Правда, чтобы не вылететь из нее, надо было держаться за нее зубами, и то: начинаешь ехать в корзине, а заканчиваешь на собственном пузе...

В корзинах? Вот это было понятно – тем более что никто из нас в корзинах не катался. Это нас зацепило. В субботу приволокли в класс несколько плетеных корзин. Катя заставила облить их водой и выставить на мороз. Уроки закончились рано, и после них Катя пошла с нами

на пруд кататься в корзинах с гребли. Это было катанье! Это была куча-мала! Корзины со свистом неслись по крутому обледеневшему склону над заснеженным прудом, при этом бешено крутились, и мы вылетали из них, словно это были не безобидные плетенки, а шипящие сковородки. Хочешь удержаться в полете – как можно крепче вцепись в товарища. Или в подругу.

Катя незаметно ушла, мы же бесились на гребле допоздна: свист, вопли, визг, хохот. И – полет, когда лишь сила сцепившихся рук может пересилить центробежную силу.

Все равно что лететь не на крыльях, а на пропеллерах Аэрофлота.

Мир в классе восстановлен. Любовь и попутное ей чувство товарищества возвратились к молекулярному равновесию.

* * *

В нашем классе трудно болеть. Детские болезни Катя знала наизусть, они были для нее одушевленными, персонифицированными, что помогало ей ненавидеть их, как личных врагов. Если ты заболел, она через все село тащила к тебе с таким свирепым лицом, с каким Дон Кихот Ламанчский скакал на свой первый поединок в золотом шлеме, том самом шлеме, который оказался помойной посудиною из общественной цирюльни. В таких гигиенических условиях трудно подцепить воспаление хитрости. Село наше длинное: две негустые, скорее даже пунктирные улицы протянулись в степи на десяток километров, а Катя жила на окраине, и только отпетый человек мог заставить ее без нужды делать такие концы, да еще с такой ношей на лице. Болели ее дети – и она болела. Болели мы – она тоже болела.

Когда в шестом классе, весной, мы с Федей Дениловым украли из военного кабинета мелкокалиберную винтовку и двести патронов к ней – хотели рвануть в далекие края и только ждали настоящего тепла, – то я был счастлив, что Катя в декретном отпуске. В школе переполох, все искали винтовку, каждый день заседал военизированный, с присутствием участкового милиционера, педсовет, члены учкома шеголяли жутко озабоченным видом, а уроки в каждом классе начинались одинаково: «Ребята, может, кто знает, видел? Передайте; пусть подбросят винтовку, ничего не будет, пусть только подбросят...» Мы же с Федей ходили с честными лицами, и никакие мольбы нас не понимали, пока винтовку не увидела на потолке (так у нас именуются чердаки) моя мать, и удары судьбы обрушились сначала на наши задницы, а потом, волею педсовета, и на головы. Не знаю, сумели б мы так долго таскать в наших дырявых портфелях свои честные лица, надевая их возле школьных ворот (перед употреблением отряхнуть от крошек и табака!), если бы в классе нас ждала Катя.

Однажды на уроке подожгли серу. Химичка показывала опыты, после урока попросила отнести серу в физкабинет, отчего та воспламенилась. Это был последний опыт в ее серной жизни, и Ванька Мазняк проделал его с большим мастерством: через три минуты, как раз к началу следующего урока, в классе был ад крошечный. Вся школа сбежалась посмотреть и понюхать опыт. Вошедший было в класс учитель истории Михаил Александрович – следующим был его урок – тут же покинул его, ибо это был не класс, а сплошная дымовая завеса. Бородинское поле в шесть утра двадцать шестого августа 1812 года...

Потом в класс пришла Катя. Отправила девчонок погулять во двор, а нас заставила открыть окна и сама провела с нами урок истории (Михаил Александрович наотрез отказался). Это был урок десяти историй. Катя ничего не рассказывала и не объясняла, она только спрашивала, сверяя ответы по книжке, и это было очень трудным делом: на ходу сострять правдоподобную историю о том, почему не выучен урок. Катя спрашивала с таким буквализмом и пристрастием (со временем я убедился: самые жестокие экзаменаторы – дилетанты с учебниками в руках), что урок оказался не выученным никем.

Она оставила нас, мальчишек, после уроков (после второй смены!), выстроила в коридоре, сама расположилась в директорском кабинете и, как приказный дьяк, начала расследование. Вызывала по одному и спрашивала, кто поджег серу.

– Не я, – отвечал каждый и выходил из кабинета к товарищам с явным торжеством и скрытым облегчением.

После пригласила в кабинет всех. Поскольку ни у кого из нас не было большого желания заходить в эту исповедальню, она заводила каждого сама, за рукав, держась за него двумя пальцами, как будто мы были гриппозными.

– Вы все – доносчики, – сказала нам без каких-либо победных ноток в голосе. – Вы все доносчики, и я не знаю, что с вами делать. Каждый из вас донес на каждого. Противно.

Встала, прошла мимо нас, сидевших с тем выражением на лицах, которое легко можно принять и за оскорбленную честность, и за искреннее раскаяние, вышла из директорской. Потом вышла из школы. В тишине, какая бывает в школах только после второй смены и только во время тщетных попыток в директорских кабинетах, мы отчетливо слышали стук ее каблуков по деревянным ступенькам. Еще через минуту пронесла свой скорбный курносый профиль мимо окна директорской и исчезла в светлых весенних сумерках.

– Вот зараза, – тоскливо сказал Ванька Мазняк, потому что героем себя уже не чувствовал, как, впрочем, и каждый из нас.

У нее были свои вывихи и, конечно, не от избытка ночных бдений над Макаренко или Ушинским. Сейчас я, например, понимаю, что допрос в директорской тоже вывих, но если она однажды назвала меня лицемером, то это я запомнил на всю жизнь, хотя меня не раз еще и по-разному называли и другие учителя.

В классе опять была какая-то заваруха, какой-то коллективный сговор, причем на Катинном уроке. После урока я подошел к ней и что-то сказал, желая ее утешить, как-то облегчить ее вечное «что делать?». Она подняла голову и медленно, тихо, чтобы слышал только я, произнесла:

– Ты лицемер, Гусев.

И я почувствовал гадливость к самому себе.

Хотя ласковых слов слышал от нее больше, чем от кого-либо другого. И когда умерла мать – а в интернат Катя везла меня месяца через три после ее смерти, – она, единственная из всей школы, пришла на похороны и, обхватив нас троих, материнских детей, из которых мне,

старшему, было тринадцать, а самому младшему – пять, плакала навзрыд, приговаривая свое «что же делать, что делать?». И когда везли мать на кладбище, я все время видел с машины учительницу, шедшую в поздней декабрьской грязи в толпе доярок и скотников, шоферов и разных других представителей неруководящих сельских профессий.

Спроси меня, как хорошо вела она свою математику, я и не отвечу. На олимпиады от нее мы не ездили. Да и трудно было ездить от нее на олимпиады, потому что Катя закончила педучилище, а в институте еще училась – заочно. (Лет семь назад встретился со своим племянником, спросил у него, как там Екатерина Петровна. «Катя, что ли? – переспросил племянш. – Не было ее с месяц, потом приехала, приходит в класс и говорит: «Поздравьте, диплом получила. Слава Богу, выучилась...» Она у нас классная руководительница».)

Как она вела математику, не помню. Да она могла бы вести что угодно, хоть зоологию. Провела же роскошный урок истории. Катя, просто Катя, без всяких математик.

Фамилия у нее хорошая: Рябенюкая. Как раз по ней: Катя небольшая, крепенькая, как просяное зернышко.

Она везла меня в интернат. И устроила в интернат тоже она. Когда умерла мать, меня и братьев приютили родственники. Все это были люди хорошие, добрые, но ни одна семья не могла взять сразу троих, поэтому жить нам пришлось в трех разных семьях. Взяли нас временно, до нашего устройства. Поскольку людей по– настоящему грамотных среди родни не было, за устройство взялась Катя. Она куда-то писала, ездила, у нее что-то не получалось, потому что ближайший детский дом был далеко от нашего села. Катя же хотела, чтобы мы жили поближе к селу, к родне, к ней. Поближе был интернат, но в интернаты сирот берут неохотно, потому что за интернат надо платить, немного, как за детский сад, но платить. Сироты же ставятся на полное государственное довольство, и это усложняет интернатскую бухгалтерию.

...«Сиротами» мы друг друга не называли. Жалостливая терминология не признавалась, и тот, кто сказал бы о себе: «Я – сирота», – был бы незамедлительно осмеян и отторгнут. «Казенные» – такое добровольное прозвище гуляло по интернату. Казенных было немного, основной контингент составляли не они. У основного контингента был хотя бы один родитель – дома, в больнице, на худой конец, в тюрьме. Была еще и третья категория воспитанников – «приходящие». Они жили в городе, дома, а в интернат приходили только на уроки, как в обычную школу. Самая немногочисленная группа. Их было еще меньше, чем сирот.

Может, заметили: в детский сад, в школу детей отдают. В интернат – сдают. Так и говорят: сдали в интернат. Нашей матери, одной поднимавшей троих детей, не раз советовали сдать хотя бы меня, старшего. С тайным гневом, с обидой отказывалась. Отвергала. Помню, как горько разрыдалась, когда я сам попросился в суворовское училище. Теперь понимаю: и в этом расхожем мальчишеском мечтании усмотрела укор себе.

И вот теперь Катя везла меня в интернат на казенный кошт.

«Казенные» – как беглые...

Да, Кате все-таки удалось устроить нас в интернат. Сначала приняли меня, с нового учебного года – и младших братьев...

* * *

Катя в приподнятом настроении, потому что везла меня не просто в интернат, а в свой родной городок. Этот железнодорожный тупичок, который всю его жизнь старалась занести, зализать, как ранку, ветром и пылью, степь, скупал у окрестных сел – в селах говорили: «Поехать в Город», не называя при этом, в какой, потому что город был один на сотни километров степи – сало, муку, масло, яйца, мясо, а взамен исправно поставлял учительниц, докториц и аптекарей. Она везла меня в свой город, в свое детство, в свое отрочество (юность ее прошла уже в селе) с кручей над речкой Кумой, где в обледенелых корзинах катались мальчишки и девчонки сорок пятого года, с улицей Садовой, на которой когда-то так надолго зажилась война, снабжая пацанву отцовскими фронтовыми галифе, с мамой – наверное, она такая же маленькая, кругленькая, как Катя, – по-прежнему проживающей все там же, на Садовой...

Наконец, с педучилищем. В этом городке Катя закончила педучилище и стала учительницей. Так и осталась в кругу детства, отрочества, юности...

– Больше всех любила в училище преподавателя литературы Валентина Павловича Чернышева. Он тогда вернулся с фронта и учил нас, как студентов, – по своим институтским конспектам. Молодой, сдержанный, мы и боялись его тоже больше всех. Сейчас работает в интернате, завучем...

Иван Васильевич молчал, потому что он вообще часто молчал, да и расквашенная дорога, за которой надо смотреть в оба, не располагала его к разговорам. Я молчал, потому что четырнадцатилетние люди всегда молчат (если не плачут), когда их везут из родного дома. И лишь Катя, стиснутая нами с двух сторон, – кабина грузовика тесновата и для одного Ивана Васильевича – щебетала и щебетала. Говорила, что, как только приедем в интернат, найдет Валентина Павловича, сведет меня к нему, расскажет, какой я хороший, как люблю литературу и как выразительно декламирую стихотворения. Все расскажет, и Валентин Павлович полюбит меня, и у меня будет содержательная жизнь.

* * *

Мы были уже на шоссе, по его асфальту текли талые воды, и машина тоже текла – легко, извилисто, как змея. У въезда в город остановились возле водоразборной колонки, умылись, вымыли сапоги. Екатерина Петровна причесалась, привела себя в боевую готовность, и через пять минут мы подъезжали к интернату. За высоким, облезлым после зимовки штaketником была перемена. Она не помещалась во дворе, цевками била в ворота и щели забора. Я входил в ее кутерьму, как в весенний дождь. Екатерина Петровна и та стушеввалась. Робко спрашивала, как пройти к завучу, а в это время мне со всех сторон кричали: «Откуда? С какого хутора? Почем кирзачи?»

В сапогах я был тут один.

Мы поднялись по лестнице на второй этаж, нашли кабинет завуча, однако в связи с отъездом Антона Сильвестрыча, директора, Валентин Павлович исполнял директорские обязанно-

сти и располагался в его кабинете. Последовали туда, разделись в предбаннике – волнообразная (прическа-грудь-живот) секретарша снисходительно рассматривала Екатерину Петровну, представившуюся сельской учительницей, – и шагнули за дверь, такую же пухлую и волнообразную, как ее сторожика.

В кабинете сидел сухощавый, подобранный человек. Аккуратно, по счету уложены еще не совсем седые, серые волосы. Тусклые, неживые, как амбарная паутина. Высокий, напряженно вычерченный лоб и глаза – так глубоко, что к ним, наверное, не достучишься.

Это и был Валентин Павлович. Учитель.

– Говорите, были моей ученицей? В педучилище? – под его пристальным взглядом Катина лицо пошло тихой зарей. – А фамилия?

– Рябенская...

– Рябенская... Рябенская. Фамилию припоминаю, прекрасная фамилия, учительская. А вот вас, – он улыбнулся, и его глаза на минуту отлучились, выглянули наружу. – ...Почему вы смеетесь?

Катя не смеялась. Катя хохотала, как частенько хохотала она в нашем классе, как вообще смеялась только она – запрокинув голову, словно пьющая птица. Пьющая! – отягощенная узлом волос голова – кверху, в небо, а в чутких глубинах выгнувшегося горла, сотрясая его, от каждой скользящей внутрь капли взлетает звонкое, колодезное эхо. Птица наслаждается каждым глотком весенней, с ледком, лужи. Катя наслаждалась каждым коленцем собственного эха.

– Вот бы и тогда говорили мне: фамилия у вас. Катя, прекрасная, учительская, в народ надо... Потому и не сменила.

Валентин Павлович тоже засмеялся. Аккуратно, чисто, как деревенские старики хлеб едят: съел и крошки в ладошку.

Мне хотелось, чтобы они говорили подольше, потому что, пока здесь была Катя, я еще был дома. Но Катя стала говорить обо мне, и это уже было хуже. Катя хотела подать меня повкуснее, с гарниром про декламацию, сообразительность, «и вообще у нас он был бы медальстом». Валентин Павлович, однажды взглянув на меня, отводил разговор в сторону. Сказал, что тут все прекрасные, необыкновенные, «просто чрезвычайные», что он за мной присмотрит и мне будет хорошо, и жизнь у меня будет содержательной, а тайные и явные таланты мои расцветут со страшной силой.

– Вы лучше расскажите про себя. Как учительствуете, как живете?

Он спрашивал про нее, она рассказывала про меня. Я же сидел в углу на дерматиновом стуле и, не слушая их, горестно представлял, как Катя уйдет, отстучит сапогами два щербатых лестничных марша, и останусь я совсем один...

Мы шли по лестнице вместе. Шаг Катя, шаг я. Шаг Катя, шаг я. Я провожал ее к машине. Перемена кончилась, двор пуст. Подсыхал на солнце асфальт, и Катини сапоги оставляли на

нем мокрые листья следов. Она плакала, закусив край лежавшего на плечах платка: «что делать, что делать?» Иван Васильевич сказал, чтоб я того, не забывал, что у меня есть свое село. Родина. Машина тронулась, я долго, с болью следил за нею, и у меня остался до сих пор в памяти ее номер, едва различимый на заляпанном грязью борту; 12-42 СТА. 12-42... 12-42... Потом – просто машина, удалявшаяся по шоссе. Потом – только шоссе, залитое вешней водой. Повернулся и понуро поплелся на интернатский двор. Катиных следов уже не было. Увяли.

* * *

Первые дни. Сезон линьки. Сначала слезли разбитые, с запасом, кирзовые сапоги. Затем штаны, потом вельветовая куртка – их в селе называли чирлистонками. Иноземные слова всегда приходили в деревню в овеществленном виде: сепаратор, «фордзон», наконец, чарльстон – в виде «чирлистонки». Наша сельская забегаловка, предмет лютой бабьей ненависти и, увы, такой же лютой мужской привязанности, величалась кабаретом. Уверен, что за всю историю села – а построено оно было в междуцарствие, и мужики, дабы угодить и живому, и на всякий случай мертвому царю, нарекли его Николо-Александровским – в нем не было ни одного француза и вообще ни одного человека, понимающего по-французски. Тем не менее – кабарет!.. Как пишется, так и произносится: это у французов «кабаре», а у нас же, николо-александровцев, исключительно «кабарет».

В течение трех-четырех дней меня по частям обмундировали, и я стал как все: в ботинках и в школьной форме мышинового цвета. Чувствовал себя подавленно, в классе приживался плохо: уж очень язвительным, жестоким показался он мне после моей в общем-то благодушной сельской школы. Он и не мог быть другим – концентрат безотцовщины или, что еще хлеще, – пьющего отцовства, педагогическое рукоделие детприемников и детских комнат. Интересы ко мне никто не проявлял (исчез вместе с сапогами), в том числе и Валентин Павлович. Войдя в класс, бегло осматривал его, удовлетворенно натянулся на меня – вот и все внимание. Но однажды, во вторую или третью мою интернатскую неделю, вызвал меня отвечать. Проходили Пушкина, Учитель велел выучить «Арион» и теперь, видно, вспомнил Катини гарниры.

– Прошу вас, товарищ Гусев, – пригласил меня к доске.

Товарищ Гусев поволокся. Как и любой новичок, шел к доске со скверным чувством, но, когда встал, повернулся и увидел любопытно-колючий, затихший класс, понял, что, наверное, именно сейчас решится, примут его или не примут, станет он здесь своим или останется чужим, а еще хуже – ничейным: так себе, есть-нету, и ему попала шлея под хвост. Захотелось поразить и класс, и Учителя. Подать себя – с гарниром. И он стал декламировать. Декламировал через строчку; первую строку стихотворения выкрикивал во всю силу здоровых деревенских легких, вторую шептал замирающим шепотом. Потом снова орал и снова млеял.

Нас было много на челне;

Иные парус напрягали,

Другие дружно упирали

Вглубь мощны весла. В тишине...

Тишина убийственная. Учитель сначала тоже опешил, потом развернулся на стуле ко мне лицом и наблюдал спектакль из партера.

Я подгребал к концу, тишина готова была разразиться издевательским хохотом, но Учитель пожалел меня. Когда я закончил и класс дружно вздохнул, чтобы выдохнуть хохот, он задумчиво сказал ему, прямо в самое яблочко пораженный нечаянным открытием:

– Вы знаете, в этом что-то есть. Движение волн – всплеск и замиранье... В этом что-то есть, – убежденнее повторил он. И засмолил мне пятерку.

Против движения волн не попрешь, и класс, опростоволосившись, молчал: мальчишки пристыжено (темнота!), девчонки – уже восторженно. Права французская литература: хочешь стать где-то своим, восхити девчонок, девушек, женщин, пенсионерок – в зависимости от индивидуальных особенностей коллектива: от детсада до патроната для престарелых.

Что касается меня, то я разгадал Учителя и возвращался на свое место, не отрывая глаз от пола.

Еще одна пятерка. Теперь уже не у меня – у моего нового (странно; когда-то он был «новым») товарища Володи Плутова. Он и сейчас самый молчаливый из нас. Гражданин заикается и все равно выпуливает по шестьдесят слов в минуту и затуркает кого угодно. Володя не заикается, но пока скажет слово, изучив предварительно линии смерти на своих до боли знакомых ботинках и отвертев пару пуговиц на ваших носильных вещах, короче говоря, вы наверняка не дождетесь, пока Володя скажет слово, плюнете и станете говорить сами. Володя сразу успокоится, замурлычет, оставит в покое ваше барахлишко, так что вы с чистой совестью можете думать, что говорите, изрекаете как раз то, умное, бесценное, что хотел, но не сумел высказать, сформулировать Владимир. Редкая птичка долетит до середины затеянной Володей фразы, и по этой причине он до сих пор живет бобылем. Он и тогда был пустышкой. Собственно, поэтому, наверное, мы с ним и подружились. Мне некуда было прибиться, в классе уже сложились замкнутые группировки, и я притулился к такому же одиночке, как сам. Разница в том, что этот одиночка, в отличие от меня, ничьего общества не искал. Сидел и сидел себе за партой, по сорок пять минут в урок рисовал чертей на промокашках, вполуха слушал преподавателей, а когда его самого вызывали к доске, начинал издали, из глубины – с ботинок. И хотя уроки он знал, редкий педагог долетал до середины затеянной Володей фразы. Как только Плугов предпринимал опасное сближение с пуговицами наставника, его отправляли на место;

– Три!

И вдруг – пять. Мы писали сочинение «Мое отношение к Базарову». На следующий день Учитель вошел в класс с нашими размышлениями под мышкой и сказал, что сейчас зачитает лучшее сочинение.

Нахлобучил на нос очки и, держа чью-то тетрадь в вытянутой руке (Учитель уже дальновзоркий), приготовился читать. Как я когда-то декламировать.

Мужская половина класса повернулась – не к Учителю – к Ларочке-лапочке, замерла. Вообще на Ларочку хотелось смотреть – шея-грудь-живот, – и вокруг нее и на уроке, и на перемене, как яичные желтки, стараясь не встречаться и не смешиваться, плавали пять-шесть тайных мальчишеских взглядов. А тут подвернулась роскошная оказия – смотреть, не таясь! Шестнадцать человек в классе (столько мальчишек было теперь у нас) счастливы. Семнадцатой счастливой была сама Принцесса. Она привыкла быть лучшей; и по части учебы, о чем ей каждый день напоминали учителя, и по другим частям, о чем ей тоже напоминали каждый день и даже по шестнадцать раз на дню. Привычка не притупляла ощущений: Ларочка любила быть счастливой – на уроке, на перемене, по дороге домой. (Когда она уходила домой, по углам забора совершенно случайно оказывались два-три воспитанника и смотрели ей вслед. Она шла и шла, размахивая портфельчиком, – у нас портфелей не было, они были ни к чему, потому что книжки, тоже общие, всегда лежали в классе, в шкафу, – смотрелась, как в зеркальце, в весенний тротуар, в намытые к маю окна, в выставленные под окнами, на завалинках, вечные лики городских старух. Два-три воспитанника наблюдали через забор счастье идти домой. Оно было греховным, потому что ходило на крепких ножках Ларочки-лапочки...)

– Сочинение небольшое, отниму у вас полминуты, – предупредил Учитель и начал читать: – «Древний поэт сказал, что человеку дано высокое лицо для того, чтобы он подымал к созвездиям очи. К сожалению, Евгению Базарову звезды не нужны. Так человек ли он?»

Валентин Павлович снял очки, уложил их в футляр, сунул в нагрудный карман.

Класс молчал. Смеяться страшновато: как-никак Базаров. «Могучая фигура в галерее образов русской литературы», как диктовал сам же Учитель. Ни фига себе фигура.

Ларочка смятенно ерзала за партой. Не могла написать такое. Базаров. Новые люди. Реалисты.

– Да, это сочинение написал товарищ Плугов. Класс развернулся на девяносто градусов и удивленно, будто в первый раз, рассматривал смятенного Плугова. К нему подошел Учитель, тронул за локоть:

– Прошу вас подарить мне вашу работу, и лет через десять, если свидимся, мы с вами перечитаем ее заново.

Плугов пожал плечами.

Учитель чуть заметно улыбнулся, вернулся к столу, бережно положил тетрадку в стороне от других, как будто это было не сочинение, а собрание сочинений, литературное наследство воспитанника девятого класса политехнической школы-интерната № 2 Владимира Ивановича Плугова, которое надо читать и перечитывать заново.

ДЖЕК ПАРОВОЗНЫЙ СВИСТОК

Летом интернат разъезжался. Ехали к родителям, близким или дальним родственникам, нередко один воспитанник вез к себе домой другого, своего товарища. Вез, подчас не спросившись у родителей, но я не помню ни одного случая, чтобы незванный гость возвращался в интернат

досрочно или в дурном расположении духа. По книжкам знаю, что такое гостеванье практиковалось в лицеях, гимназиях и других казенных заведениях. Отдавая должное дворянскому гостеприимству, надо сказать, что нашу интернатскую публику безропотно принимал далеко не самый обеспеченный народ.

В интернатских стенах на лето оставалось не больше четырех-пяти человек. Причем публика эта была неизменная, разве что по окончании школы кто-то уходил, но на смену обязательно прибывался другой. Ее, пожалуй, можно определить как еще одну, теперь уже самую малочисленную группу – о с т а ю щ и е с я н а л е т о в и н т е р н а т е. В то лето я составил им компанию, родственники взяли братьев, взяли бы, конечно, и меня, но я, видите ли, счел благородным остаться.

Компания была разношерстной. Колька Бесфамильный, самый старший из нас, сорок пятого года – в свидетельстве о рождении, там, где у многих в графе «отец» торчали стыдливые прочерки, у него решительно значилось: «подкидыш» – гражданин Развозов, или просто Гражданин, Плугов, я и довеском Джек Свисток.

Довесок у нас знаменитый. Несмотря на то что учился где-то в младших классах, его знал весь интернат. Известность Свистка зиждилась на двух китах. Первым был его голос. Этот тщедушный, сутулый, как будто стоявший на вечном старте шкет обладал неожиданным, словно прикарманенным, басом. На занятиях хора (интернат пел хором, что было предметом тайной гордости директора Антона Сильверстыча, и в нашем репертуаре была даже песня, сочиненная старшей воспитательницей: «Мы за честь родного интерната постоим в учебе и в труде. Лейся, песня, звонка и крылата, песня о счастье в родной стороне») учительница пения Эльза Семеновна ставила Джека в самый последний ряд, к старшекласникам. Джек начисто терялся среди них, и только его бас ломился из их гущи так, что все остальные басы интерната могли разевать рты вхолостую, что они и делали. Если кто-то из старшекласников невзначай давал Джеку подзатыльник, бас делал такой нырок в тартарары, что Эльза Семеновна вздрагивала, будто затрещину нечаянно вломили ей, а не Джеку Свистку из последнего ряда.

Был бы у вас такой голос, вас бы тоже прозвали Свистком – от противного.

«Хронометр» – так звали у нас учителя математики, Петра Петровича, любившего подсчитывать у доски, во что обходится государству каждый из нас, воспитанников («восемьсот рублей в год» – не уставал повторять он). Но звали его, повторяю, не арифмометром. Может, потому, что главные деньги – это все-таки время.

Второй кит Джека Свистка был женского рода – его мать. Ее интернат знал еще лучше, чем самого Свистка, хотя та в интернате ни разу не появлялась. Мы ее ни разу не видели, но с кем бы ни заговаривал Свисток, разговор всегда в конце концов сводился к его матери. Какая она у него хорошая, красивая, как много у нее родинок, а это, знаете ли (тут Джек, совсем как Петр Петрович у доски, в свирепой непререкаемости задирал указательный палец), – верный признак счастья, и что в это воскресенье она за ним приедет и заберет его из этой паршивой конторы. «Ауфвидерзеен – счастливо оставаться», – надменно внушал Свисток однокашникам, лениво отмахивавшимся от него воспитанникам старших классов, учителям, горнам, стенам, барабанам – всему белому свету.

Наряду с душевными и физическими совершенствами мать Джека обладала еще одной незаурядной способностью; исключительно быстро продвигаться по службе. Начинала, пом-

нится, с уборщицы в магазине «Морс». (О, этот клюквенный морс! Кто застал его в детстве, тот великодушно простит Джека, даже если он и соврал. А впрочем, может, и не соврал: из всех постов Джековой матери этот был самый реальный.) Потом последовало несколько промежуточных назначений, и наконец она была публично произведена в знатную ткачиху, обслуживающую одновременно пятьдесят станков. Публично потому, что в тот момент, когда не подозревавшая в себе локомотива экономики мать протирала очередную бочку из-под пива, Джек, выполняя добровольную общественную нагрузку, делал в классе доклад «Передовики семилетки – герои наших дней». Доклад тоже свелся к матери, ибо Свисток, конечно же, не мог упустить возможности сказать «ауфвидерзеен» сразу целому классу.

Джек назначал дни приезда матери, сам верил в них и даже готовился к ним – каждое воскресенье собирал манатки: лобзик, школьную форму, банные тапочки...

Таков был довесок.

Интернат ремонтировали, поэтому жили мы в пионерской комнате, среди знамен, барабанов и горнов. Поскольку пионер из нас пятерых был один – Джек Свисток, он и стал бесменным дежурным по пионерской. Вообще-то Джек вовсе не был услужлив, скорее дерзок. Но когда классная руководительница, к примеру, отчаявшись найти дежурного, вопрошала: «Кто же у нас уберет сегодня в классе?» – Джек поднимал руку: «Я». Не любил обычного в таких случаях тоскливого молчания. От этого молчания у него краснели уши – как установленные по краям проезжей части спаренные светофоры. Проезжая часть была носатой, смешно заостренной книзу, но вообще-то симпатичной.

Долгая инкубаторская жизнь сделала из Джека коллективиста с прекрасно развитыми ушами. Пионерскую держал в порядке, горны сияли, как самовары.

Жизнь у нас была неплохой. Ездили на подсобное хозяйство и жали там серпами сорго. Степь за нашим городком была просторна, как небо, а августовское небо было таким же горячим и пропыленным, как степь. Сорго кололо руки, солнце калоило спины, но мы наловчились орудовать серпами, как заправские жнецы прошлой эпохи, круто вязали снопы, ставили их в кулиги, а вечером увозили с собой в интернат. Осенью он будет напоминать пережиток раннего капитализма – пыльную, горластую и – единственное несоответствие – веселую мануфактуру. Из наших снопов будут сделаны первосортные тугие веники, И интернатский завхоз, круглый практик Иван Гаврилович загонит их окрестным колхозам и превратит сорго в молоко, масло и яйца, в восемьсот первый рубль, не предусмотренный сметой и не поддающийся педагогической арифметике теоретика Петра Петровича.

Джек входил в сорго с головой. Куда ему косить! Помогал грузить снопы, бегал в шалаш за водой, делил сухой паек. У него была тыща дел, у Джека Свистка, человека с прекрасными ушами. У него было дело, справиться с которым не мог никто другой: каждый день раскалывать на пару арбузов сторожа колхозной бахчи, что лежала километра за полтора от нашего поля. Джек уходил к этому деду, ровеснику собственной тулки, свистевшей за его спиной, как пустая камышинка, и тем не менее такому свирепому, что сунувшись к арбузам в первый день, мы летели от его овчарки, не чуя под собой ног.

– Турки! Супостаты! Белогвардейцы!

После таких обвинений выстрел был бы вполне логичен. И еще никто б его, кляузника, не судил...

Джек уходил к деду, беседовал с ним, временами уже подсвистывавшим своей тулке вторым, с прихрапом, голосом, и с его страдающей бессонницей овчаркой – о жизни, о погоде, мало ли о чем беседует человек, когда ему нужна пара арбузов, и возвращался-таки с добычей. Однажды вместе с ним пришла и собака. Смиренная, прямо переродившаяся. Представилась, повиляла хвостом, села возле Джека и ревностно следила, чтобы мы, не дай бог, не обделили его за обедом. С этого дня овчарка Струна сторожила уже не арбузы – она охраняла Джека Свистка.

И бессонница прошла; дрыхла на солнышке вместе с дедом и тулкой...

Степь, птичья свобода, астраханские арбузы с черным хлебом, вечерние поездки на пыльных, горячих снопах с интернатским шофером дядей Федей – что может быть лучше этой жизни!

Одно было плохо.

По ночам Джек тосковал и плакал. Плакал во сне, тихо, по-щенячьи. Мы будили его, успокаивали. Случалось, в порядке внушения давали ему подзатыльник. Умиротворенный внушением, Джек засыпал и начинал скулить снова. Он скулил, а мы, четверо длиннобудылых отроков, уже косившихся на невесть когда высунувшиеся из-под форменных платяниц коленки одноклассниц, притворялись спящими. Мы притворялись спящими, хотя еле слышное завывание Свистка повергало нас в смятение. У каждого что-то ныло и ворочалось, каждому мерещились дом и мать, даже тем, кто никогда не знал ни того, ни другого...

И каждый боялся в этом признаться. Себе. Соседу. Джеку.

Пройдитесь ночью по детскому дому.

Кто-то из малышей помочился под себя. Что ж, бывает. Снимите с него трусы и суньте его, теплого, в постель к соседу.

Если человек хохочет во сне, это тоже не страшно – летает, растет.

Но не входите к самым маленьким, к тем, кто во сне бредит, болеет, живет матерью. Не входите. Это заразно. Даже если вам за сорок и вы до сих пор живете с женой, тещей, бабушкой и матерью.

Джек Свисток заразен.

А в одну из суббот он пропал.

* * *

Накануне ночью был дождь. Знаете, как бывает; пройдет ливень, а после еще долго, всю ночь, сочится мелкий, с ветром, дождь. Утром мы встали – Джека нет. Раскладушка заправлена, пол вымыт, горны блестят, а Джека нет. Вначале не удивились, потому что Джек часто вставал раньше нас. Умылись, сходили в столовую, где нас ждала тетя Шура, единственная повариха, согласившаяся за гроши все лето приходить в интернат и готовить нам завтраки и ужины. Она часто приносила из дому что-нибудь вкусное, никогда не говоря при этом: мол, это вам, ребята, от меня или что-то в таком роде, а просто ставила принесенное на стол вместе с небогатыми интернатскими разносолами и молча, строго, подперев щеку рукой, смотрела из-за стойки, как мы едим. Крупная, статная, с волосами, побитыми проседью, разговорчивой ее никто не видел, да и не вязалось это как-то с нею. Мы знали, что у тети Шуры двое детей и что в наш городок она попала девочкой, в войну, из Ленинграда...

В столовой Джека не было.

Мы решили, что он ушел рыбачить (с утра после такого дождичка хорошо клюет, к тому же и наших удочек на месте не оказалось) и запоздал. Попросили тетю Шуру передать ему, что уехали в поле, а он пусть сидит дома и варганит к ужину уху.

День у нас протлел тягостно, и домой мы возвращались в тревоге.

Джека не было.

– Эх вы, – сказал тетя Шура, и мы сидели за ужином, уткнувшись в свои тарелки.

Джек сбежал – это ясно, как дважды два.

Джек сбежал – и мы должны доложить об этом дежурному воспитателю.

За нами на лето закрепили нескольких воспитателей, которые два-три раза в неделю появлялись в интернате, проводили с нами физзарядку – тщедушный Джек делал ее так истово, словно молился своему равному физкультурному богу – и присматривали, как мы живем.

Мы должны были жить без происшествий. Мы обязаны были доложить о побеге дежурному воспитателю, но дежурным воспитателем на этой неделе был Петр Петрович.

Мы прекрасно знали, где он живет, – его уютный, с садиком и с забором, за которым тайно хихикали три белобрысенькие дочки, домик находился недалеко от интерната на Партизанской улочке, и сходить туда не составляло труда. Но мы решили искать Джека сами. Слышали, что мать Джека живет где-то на Кавминводах. Это четыре часа поездом от нашего городка. Поезд уходил в пять утра. Собрали наличность. Двенадцать рублей с копейками – на дорогу туда. Обрато ехать не на что. Но мы были детьми своего интерната и к десяти вечера с помощью ведра и шпагата связали десяток отличных сортовых веников, с которыми можно было ехать к черту на кулички, так, по крайней мере, казалось нам.

...Сядишься на корточки, ставишь между коленями пустое ведро, подкладываешь под его дужку метелками вперед пучок сорго, одной рукой прижимаешь дужку, а другой протягиваешь пучок на себя. Готово. Мелкие, на пороховинки похожие зерна ссыпались в ведро, а у тебя в руках остались голые метелки. Бери шпагат, складывай их в нужном порядке, гни и вяжи веник, если, конечно, умеешь. Мануфактура!..

У одного из нас, у гражданина Развозова, старинные карманные часы с боем, подаренные его бабкой. Бабка состояла в регулярной переписке с директором интерната, в которой внука своего, брошен Юго на ее попечение упорхнувшей в погоне за молодостью дочерью, именовала не иначе как «малолетний гражданин Развозов». Сказывалось, вероятно, то, что бабуля была в дальнем родстве с дореволюционными коньякаторговцами Шустовыми – тем ревностнее подчеркивала она теперь сугубо пролетарское происхождение Гражданина,

Поезд уходил в пять утра. Мы поставили часы на полчетвертого. Во сне, конечно, забыли о своих приготовлениях. Когда из-под подушки раздался их сдавленный звон, вскочили и, сонные, оторопевшие, сели как ваньки-встаньки в своих раскладушках.

– П-пора, – сказал Гражданин.

Пора.

Собрались, захватили провизию, навьючили на Плугова мешок с вениками. Гражданин нес бабкины карманные часы и общественные карманные деньги.

Улицы безлюдны, и мы сами почувствовали себя беглецами. Тем более что от наших гулких шагов собаки за воротами становились на уши, отчего ворота трещали и раскачивались. Ночь пошла на убыль, впереди, рядом с элеватором, проклюнулась заря. Она стремительно росла, застревала в окнах и лужах, нежно касалась наших лиц. Мы думали о Джеке, о том, как он вчера один, маленький и дохлый, шел под дождем и собачьим лаем по этой враждебной улице, и уже не злились на него. Нам было жаль желторотого Мцыри, потому что мы уже знали, каким спектаклем – с выводом дебютанта на сцену, под фикус, с монологами и раскаяниями – кончаются бега...

Вокзал еще пуст. Если не считать небритого угрюмого человека на лавке в классической позе бродяг и мыслителей. Мы на всякий случай сели подальше от него. Плохо, если вчера с этим вечным Джеком встретился наш маленький Джек. Это значит, что свой дальнейший путь последний продолжает без копейки в кармане, а мы по опыту знали, что в столь незрелом возрасте беглец без денег может уехать гораздо дальше, нежели мальчик, прилежно покупающий билет на всех пересадках и усердно демонстрирующий его образцовым родителям МПС.

Билеты покупал Гражданин.

Благополучно дождались поезда, благополучно разместились в полупустом вагоне, проследив предварительно, чтобы не напороться дуриком ни на кого из работников интерната – вдруг кому-то из них приспичило ехать туда же, – и тронулись в путь. Гремели колеса, круто, по касательной, уходил, отлетал и вообще скрывался с глаз наш душный, протухший, пыльный городок (господи, каким ничтожным он казался нам тогда и как бы мне хотелось сейчас дохнуть его дальним дыханием!), и, наверное, каждым из нас вновь овладело прекрасное чувство побега.

* * *

Я ехал на поезде второй раз. Впервые, полгода назад, меня везли в этом же поезде в Пятигорск на олимпиаду по немецкому языку. Нас было несколько школьников из различных школ района, и везла нас молоденькая городская учительница Аида Васильевна, которая всю дорогу до Пятигорска заставляла нас говорить по-немецки, и это была не дорога, а сплошной четырехчасовой дойч. Обратное ехали еще тягостнее, потому что Аида Васильевна, поджав губы, дулась на нас: мы не заняли на олимпиаде ни первого, ни второго, ни третьего места. Да, ничего такого мы там не завоевали, но нам дали памятные, утешительные подарки, и мне достался «Чудодей» Штриттматтера, правда, на немецком языке – увлекшись, организаторы олимпиады подзабыли, что соревнуются не они, а всего лишь мы, смертные школьники. С великим трудом, года два, переваривал я «Чудодея», специально купив громадный, килограмма на три, немецко-русский словарь. Правда, многих слов в словаре не было, и я обращался с ними к нашей немке, действительно прирожденной поволжской немке Анне Михайловне. Слова оказывались такими, что наша добродетельная Аннушка краснела как маков цвет, и переводила их мне намеками, чем еще больше раздувала вспыхнувшую во мне страсть к иностранным языкам...

Как непохожа теперешняя поездка на ту – под конвоем дойча!

Мы прилипали к окнам, растворялись в окнах, за которыми, покачиваясь, проплывали поля и речки, грохотали костлявые мосты, жили незнакомые села, спотыкаясь, бежали за составом полустанки и ранние базары. Мы шатались по вагонам, болтали и, кажется, совсем забыли о Джеке Свистке. А когда на одной из станций в вагон вошла мороженщица, хранитель наличности Развозов лихо отхватил у нее четыре эскимо. Они были уничтожены на месте, и только Колька Бесфамильный, философ и тайный поэт, обращавшийся к каждому из нас на «вы» – для того, наверное, чтобы подчеркнуть свое старшинство, – поинтересовался:

– Не слишком ли вы расточительны, Гражданин?

– Жить надо широко, – покровительственно ухмылялся тот.

Когда приканчивали третью партию мороженого, перед нами

возникла контролерша – совершенно из ничего, что было удивительно при ее громоздких формах.

– Билетики!

– У него, – три пальца уперлись в Гражданина.

Гражданин вынул из кармана билет – один. – П-постойте, гр-граждан-не, п-постойте... – Это он отбивался уже не от контролерши, а от нас. – Я вс-се объясню. П-послуш-шайте, – вновь повернулся он к контролерше. – П-послушайте, мам-маша. Мы из спецшколы для недоразвитых, – усиленно заикался самый развитый из нас гражданин Развозов.

– Чего-чего?

– Из спецшколы, говорю, – обрадовался грозной и все же неслужебной интонации «чего-чего». И подхватил ее, как галантный кавалер, за талию, за плечики, нежно и крепко, и заплясал вокруг этого «чего», и забил копытами;

– Для недоразвитых. Учимся круглый год – сами понимаете. Даже летом. Просто мученье, – перешел на рубленный слог: лови момент, продувшийся поручик! – А тут на недельку отпустили, домой едем, в Минводы. К родным и близким...

– Врете ж все, паразиты, – растерянно говорила женщина.

– Н-никогда! Н-ни при каких обстоятельствах. Р-развяжи! – неожиданно рявкнул Гражданин Вовке Плугову.

Володя догадался, путаясь в бечевках, развязал оклунок, вытащил веники.

– П-п-п-продукция, – пылил Гражданин. – В школе делаем. Знаете, физиотерапия. Почуился – потрудился. И так круглый год, даже летом. Просто мученье.

Володя держал веник, как букет перед любимой.

Букет отвергнут не был. Контролерша куда более миролюбиво проследовала дальше.

– До войны таких безобразий не было, не было такого до войны, – ворчала бабка, сидевшая с дюжиной разнокалиберных корзин мест за семнадцать от нас.

– Так и нас же до войны не было, бабушка, – утешал ее Бесфамильный...

В девять поезд был в Минеральных Водах.

Мы ринулись к вокзалу, а вокзал ринулся на нас.

Спешащий, кричащий, переполненный так, что даже голубиный помет не долетал до его перронов, он, как цыганский табор, жил крайними страстями: хохотал и плакал, целовался и матерился, дарил и попрошайничал.

Кипел под ногами асфальт, и поезда, подходившие с юга, волнами гнали перед собой горячий, пенящийся бриз двух морей. От их перелетных криков все внутри просило крыльев, и только курортники, распаренные, очумелые, как осенние мухи, люди, изнывавшие за толстыми линзами вагонных окон, не понимали, какое это чудо – дорога.

Нам трудно было искать Джека Свистка, слишком много отвлекающих запахов.

Решили поделиться на две группы. Двое, Плугов и Бесфамильный, оставались на вокзале, чтобы еще раз осмотреть все залы и закоулки, облазть перроны. Они же, как более представительные из нас, должны были сходить в железнодорожный детский приемник, где в любое время года и суток наверняка сидит на приколе пара-тройка Джеков – на выбор.

Нам же с Гражданином выпало ехать на минераловодскую толкучку. Знаменитый «толчок», на котором умеючи можно толкнуть союзки от ботинок, которые в девичестве сносила наша бабушка.

Собственно, идея поехать на толчок принадлежала Гражданину. Его логика проста и насмешлива: если человеку нужны деньги, а Джеку они наверняка нужны, он непременно обнаружит у себя лишнее барахлишко – например, штаны, даже если они единственные. К этой язвительной теории примешивались и практические соображения нашего финансиста: в конце концов нам тоже нужны деньги, и не продавать же веники прямо на вокзале.

Вышли на привокзальную площадь, спросили, как проехать на толчок, сели в автобус. Жестяная колымага проковыляла несколько остановок, а мы уже на собственных боках почувствовали и силу спроса, и ярость предложения минераловодского толчка. А едва приехали на место, вырвались из автобуса и протиснулись в точно такую же теснотищу барахолки, как в буйном шабаше самых сладкоголосых сирен различили, услышали и очень знакомый нам голос. Не различить его невозможно, потому что профессиональную спевку спекулянтов он покрывал с такой же легкостью, с какой расстраивал и наш любительский интернатский хор.

– Абсолютно новая школьная форма на мальчика высокого роста!

Свисток считал себя «мальчиком высокого роста»?!

Стали пробиваться на голос и вскоре увидели Джека. Плотно зажатый барахольщиками, он стоял со своей недавно полученной со склада формой, и его худое, напряженно вскинутое вверх лицо было печально.

Джек не видел нас, зато мы видели его как на ладони во всем его пороке. Проталкивались к нему, и у нас уже не было ни злости, ни жалости, нам хотелось одного; чтобы Джек поскорее увидел нас. Тогда можно отвесить ему для приличия по шапке, и все пойдет как положено.

– Абсолютно новая школьная...

Джек заметил нас на середине тирады, но с достоинством провопил ее до конца, вплоть до «мальчика высокого роста».

– Привет.

– Привет, – ответили мы.

Мы не успели соблюсти приличия, потому что в эту минуту над нашими ушами грохнуло так, что мы вздрогнули:

– А это что еще за падлы? И почему они мешают тебе продавать твою собственную вещь?

Мы с Гражданином обернулись. Перед нами стояла растрепанная женщина и пьяно, зло смотрела то на Джека, то на нас.

– Что за падлы, спрашиваю? – повторила, и мы с Гражданином поняли, откуда у Джека его роскошный бас.

– Оставь их, мама. Они из интерната, за мной приехали, – хмуро перебил ее Джек.

– Из интерната? Ну, вот и хорошо, – она как-то сразу улеглась. – А то пришлось бы сегодня одному ехать. Мне беспокойство. А втроем не страшно, весело доедете. А форму давай, сама продам, оперы, слава богу, пиво пить ушились...

Выхватила форму, зыркнула кругом, мазнула Джека по волосам:

– Счастливо, сынок, не скучай. Счастливо, детки, – это уже нам – с поклоном.

Исчезла. Нырнула в толпу, как рыба в воду, только плавники блеснули.

Мы стояли возле Джека, переминаясь с ноги на ногу. Какой интерес, право, отвешивать человеку, который и без того готов реветь белугой. Даже для приличия...

– Может, и венички заодно толкнешь? – не удержался Гражданин.

– Идите вы...

Свисток. Маленький, беззащитный Свисток. Человек с прекрасными ушами, чья мать с сегодняшнего дня уже никогда не будет обслуживать пятьдесят станков одновременно. Пенсия. Производственная травма.

Веники продали и без него, быстро и выгодно: по два с полтиной за штуку. Последней покупательнице, уж очень привередливо ощупывавшей наш товар, посоветовали попробовать его на зуб – со злости...

– Бить будете? – поинтересовался Джек за воротами толчка.

– У-учтем душевные терзания, – буркнул Гражданин, и мы поехали на вокзал.

Все так же кишели перроны, все так же кричали поезда, и августовские девчонки обдавали нас холодком своих платьев и грив, и денег у нас куры не клевали, но мы скучно купили билеты – пять! – скучно дождались поезда и молча, отвернувшись друг от друга, двинулись той самой дорогой, вдоль которой еще утром проплывали, покачиваясь, поля и речки, грохотали костлявые мосты, жили незнакомые села, спотыкаясь, бежали за поездом полустанки и ранние базары.

Догоняли Свистка, а догнали себя.

В интернат добирались поздно вечером. В тесных улочках оседала темень. Зато на окраине, на пустыре, высокие фонари четко обозначили забор, пустынный, ровно застланный светом двор, кирпичные здания, в которых не горело ни одно окно. В столовой тоже никого не было. В пионерской, на столе, стоял ужин и была записка: «Приходил Петр Петрович, я сказала, что вы в кино. Не обижайте Женю...»

УЧИТЕЛЬ

Учитель входил в класс, и начинался урок. Он начинался в тот самый миг, когда Учитель открывал дверь, и в классе сначала появлялась его рука, сухая, желтая, жесткая, какая-то докторская рука, не рука – инструмент. Пинцет, ланцет, зажим – медоборудование, насквозь продезинфицированное табаком – Учитель входил в класс, и наши курильщики судорожно ловили верхним чутьем «БТ».

– Итак, товарищ Смирнов сегодня нам расскажет...

– Кто имеет дополнения?

– Запишем тему урока.

Мы записывали тему, например, «Сравнительная характеристика образов Татьяны Лариной и Катерины Кабановой» или «Народ в войне 1812 года по роману Л. Н. Толстого», Учитель отходил к окну, опирался на подоконник, левую руку подкладывал под поясницу, в правой держал одну из своих ветхих – точно студенческих! – тетрадей и ровным голосом читал: «Несмотря на то, что Татьяна Ларина и Катерина Кабанова – представительницы различных эпох и различных классов, жизнь в деревне, русская природа, близость к простому народу наложили общий отпечаток на их характеры... Для краткости Татьяну Ларину можно обозначить буквой «Т», Катерину Кабанову – буквой «К»...

Или: «Лев Николаевич Толстой убедительно показал, что истинный герой 1812 года – народ, главный фактор победы над Наполеоном – дубина народной войны...»

Учитель диктовал, мы записывали.

Менялись его тетради в старых дерматиновых обложках, с вываливающимися, осыпавшимися листьями, менялась погода в окне за его спиной: весна, осень, зима.

Учитель диктовал, мы скрипели перьями.

Если он наткался в своих тетрадях на истины, которые уже не были таковыми, во всяком случае для него, – прекрасное человечество умнеет несколько медленнее, чем один человек, он останавливался, спрашивал:

– Записали? Теперь подумаем.

«Вместе с тем Лев Толстой допустил историческую неточность, нарочито принизив значение вождя народной войны, его полководческого гения. В образе Кутузова уже ощущается ошибочная, утрированная идея растворения личности в массе, наиболее полным воплощением которой стал Платон Каратаев...»

– Записали? Теперь подумаем.

Мы думали, Учитель снисходительно слушал нас. А может, и не слушал. Заложив руки за спину, смотрел в окно – весна, осень, зима – и время от времени что-либо вставлял в высказываемые нами мысли. Даже если их не было – одни слова или звуки. Цирковой круг, усердное столпотворение зверья: шерсть дыбом, пена клочьями, скачки, рычание, прыжки или ленивый, как зевок, оскал и – щелчок кнута. Самое главное – вовремя вытянуть кнутом. Лучше, если

не по спине – по сцене. Учитель знал, когда вытягивать. Чем реже, тем лучше. Кнут в его руке – вот она, рука дрессировщика: едкая, пергаментная, прокуренная кожа обтянула аккуратную кость – щелкал сухо и четко, не поднимая пыли. По спине Учитель не хлестал, не поднимал на смех, не срезал, не подавлял.

Только по сцене.

И никогда не пускался с нами в споры – подозреваю, что ему было не так важно, как мы трактовали, исправляли, углубляли Льва Николаевича Толстого. Важнее было зафиксировать рычание, столпотворение, оскал, хотя бы ленивый. Хаотичное, магматическое движение, из которого родился когда-то разум. Зафиксировать и – подстегнуть. Погонщик мулов – он экономил наше время и потому целыми уроками диктовал нам студенческие прописи. На вырост. А может – навывлет. Экстракт, выдержанный в пыльных погребках сношенных учительских портфелей, двухтумбовых столов, вековых родительских чердаков, на которых в конце собственной жизни можно наткнуться на собственную, уплывшую сквозь пальцы (у нас говорят «скрозь»): всюду и неизвестно где) одаренность. Выжимки. Окаменелости, потерявшие вес и запах где-то в двух-трех местах, как молью побитые, продырявленные кнутом дрессировщика. Погонщика мулов.

Бросал нам эти прописи, как завалившуюся, безжизненную белую кость, чтоб только потекла слюна, чтоб только появилась голодная злость.

Хотя вполне возможно, что у него и у самого не было каких-то особенных, мудрых мыслей о Толстом. По крайней мере, с нами не делился. С нами был снобом. И, как все снобы, экономил скорее даже не наше, а собственное время. Но снобы бывают разными. Есть снобы с биографиями, ухоженными, подвитыми и расчерченными, как утешительные садики столичных крематориев. Их терпят из любопытства и добродушия, а они, дурни, тешатся своим снобизмом, не понимая, что в сущности, кто-то – скажем безлико – жизнь – потешается ими. И есть снобы, которых когда-то здорово переехало в жизни и которым просто ничего не остается или ничего не удается, как быть снобом. Если первый тешится своим снобизмом, второй – утешается им.

* * *

Мы знали, что Учитель был в плену, в концлагере. Да это видно и по нему. Тощ, сер и спокоен. Так тщательно, на все пуговицы спокоен, что когда, забывшись, обжигал пальцы (единственный из учителей курил открыто, в школьном коридоре), то не спохватывался, не тряс рукой, не выбрасывал окурочок наспех, куда попало, а, зажав его двумя пальцами, брезгливо, как муху, нес до ближайшей урны и опускал его туда, как в преисподнюю, откуда окурочок, правда, совершал обратный – стремительный! – путь раньше, чем урну успевала вытряхнуть уборщица тетя Мотя, поскольку желающих курнуть «БТ», хотя бы бычок, было слишком много, и они следили за Учителем на отдалении, но цепко и неусыпно.

У нас не было литературных вечеров, викторин, шарад и прочего. Учитель не распекал нас за двойки или за плохое поведение на перемене. Обычно учителя, всю жизнь прожившие в школе, настолько вживаются в ее страсти-мордасти, что относятся к ним чересчур серьезно, даже болезненно, без здоровой отстраненности и трезвого юмора. Учитель же не жил, не стра-

дал школьными страстями, может, потому что знал страсти не только по Киселеву и Бархударову. Экономил нервы. И все же время от времени срывался. Спиртовым жалом тогда трепетала в нем невидимая искра, коража черты, выворачивая голос.

Начиналось с пустяка. Например, Учителю показалось, что кто-то не записывает. Он диктует, а кто-то, скажем, Олег Шевченко, не записывает, потому что в этот момент увлеченная приговором Элен, Ларочка-лапочка низко склонилась над тетрадь, и в отвороте ее блузки (приходящая Ларочка не носила форменных платьев) развернулась бездна, не заглянуть в которую нет сил. Учитель замечает, что Шевченко, в отличие от Ларочки, увлечен не социальными, а скорее анатомическими раскопками «образа Элен», и изо всех сил хлопает тетрадкой по подоконнику – так, что над конспектом взлетает облако многовековой чердачно-портфельной пыли. Класс вздрагивает. Началось.

Бывали разносы, над которыми мы смеялись, – например, когда нас разносила со слезами на глазах добрейшая Аннушка.

Были разносы, которые принимали как должное, помалкивая или играя в «морской бой». Это когда Петр Петрович в очередной раз потел у классной доски, подсчитывая, во что обходится государству очередной имярек: он и ругаться предпочитал цифрами.

Когда разносил Учитель, в классе стояла мертвая тишина. Госпитальная тишина, в которой страдал и кровянился один-единственный голос – голос Учителя. Вместе с классом молчали и виноватый (или наоборот – невиновный), потому что оправдываться было нечестно: все равно что спорить с обреченным. Минут через десять Учитель выдыхался, поворачивался к окну – осень-зима-весна – и когда оборачивался вновь, был сер и спокоен.

Лишь однажды негласный закон молчания был нарушен.

Его нарушил Кузнецов.

Из-за какого пустяка вспыхнул разнос, не помню. Кофточки и то, что под кофточками, и то, что вообще непобедимо прорастает даже из-под форменных, стиранных-перестиранных платьиц (в армии, выдавая мне шапку, ровесницу Вооруженных сил, старшина пошутил: «Бери, воин, в этой шапке не один солдат помер»), все это исключается. Вряд ли Кузнецов закричал бы из-за таких мелочей.

А тут он закричал:

– Неправда! – И его жесткое лупатое лицо покрылось пятнами.

Они стояли друг против друга. Учитель – бескровное лицо, мятущиеся, вырвавшиеся из-под надбровий глаза, в которых злость смешалась с мольбой, и голос – бредящих ночных госпиталей. И Кузнецов, сухощавый – от макушки до пяток одни кости: к таким попадать, как в мясорубку, – вытянувшийся в струнку.

Учитель кричал разные слова, Кузнецов лишь одно:

– Неправда!

Учителю не надо было трогать Кузнецова. Родителей у Кузи нет, жил он в деревне с больной бабкой, шпыняли его там, конечно, будь-буди, и защита стала для него изошренной формой нападения. В классе избегали драться с Кузнецовым: мог садануть всем, что попадет под руку, мог, извернувшись, схватить за горло, а разжать, разорвать его костлявые пальцы непросто. Класс растерянно молчал, слушая, как они кричат друг на друга. Каждый понимал: надо кому-то встать, взять Кузнецова под белые руки и вывести вон. И каждый, уверен, оттягивал минуту решительных действий: авось, вот-вот уладится само собой.

Авось, встанет сосед.

Так никто и не встал. Духу не хватило.

Первым не выдержал Учитель.

– Выйдите вон, – сказал надорвавшимся голосом, хотя никогда никого не выставлял из класса, ибо считал это преступлением против «программы».

– Неправда! – не унимался Кузнецов.

Выручил звонок. Ушел, забыв на столе конспект. Учитель. Ушел с уроков Кузнецов. Когда мы после занятий пришли в общежитие, Кузя, заложив руки под голову, лежал в ботинках на кровати и плевал в потолок. Пройдет много времени, может, целый год, прежде чем накануне какого-то праздника, когда интернат разъезжался по домам и в общежитии царила веселая и в то же время нервная обстановка (разъезжались-то не все), неразбериха, в нашем отсеке из-за ерунды случилась драка между Гражданином и Кузей. Кузя схватит Гражданина за горло, но тот успеет выхватить из разболтанной спинки кровати увесистую железную трубку и пустить ее в дело. Прежде чем разнять дерущихся, класс, точнее парни класса, отсчитали пять явственных ударов трубкой. Раз... два... три... четыре... пять... Стоп! – разнимаем. Еще позже, когда мы уже разлетимся из интерната, до меня дойдет слух, что Кузя попал в тюрьму, и у меня грустно аукнется сердце. Кузина судьба покатилась, как падающая звезда...

Все это потом. Пока, на следующий день, Кузнецов, как обычно, был в школе.

Учитель в школу не пришел.

* * *

Учитель заболел. Сначала уроков литературы не было, потому что заменить Валентина Павловича оказалось нечем.

Через несколько дней Антон Сильвестрыч ввел в класс незнакомую женщину. Он придерживал ее за локоть и двигался рядом, выпятив грудь, развернув давно безработные плечи, как будто под ногами у него в безветренном зное свечей таял воск холеного паркета.

Легкий, в парении, взмах бровей, текучий абрис большого тела, в котором годы уже начали свою кротовую работу, но, сдерживаемая породой, она пока не портила его, придавая сильным, еще внимающим господствующим ветрам, очертаниям мягкость и щемящую завер-

шенность убывающей женственности. Такая заставит вспомнить, что ты – мужчина. Гусар, некоторым образом!

Антон Сильвестрыч подвел ее к столу, представил;

– Нина Васильевна, жена Валентина Павловича. Пока он болеет, будет преподавать литературу...

Женщина выжидающе смотрела на него, и директор, потоптавшись, решил, что вышло, пожалуй, куце. Приняв позицию, в какую он обычно становился перед фикусом – Антон Сильвестрыч был близорук, и наставляемый для него растворялся в вечнозеленой листве, – дополнил:

– И, пожалуйста, без фикусов. Простите, без фокусов. Должен вам сказать, что Нина Васильевна – завуч вечерней школы, большая общественница, человек известный в нашем городе, и мне не хотелось бы, чтобы вы своим поведением опорочили в ее глазах родную школу. Свой родной дом.

Сообщив это, Антон Сильвестрыч привычной шаркающей походкой направился к двери. Спешился.

Женщина спокойно и внимательно рассматривала нас. И ее красота, и то, что она одета в черное платье, усугубляли нашу неловкость – как-никак мы чувствовали себя виноватыми. Вскинув голову, что придавало ее осанистой фигуре иллюзию стремительности, какую даже перегруженным судам создает легкий крен, она показала глазами на Плугова, Гражданина и меня и сказала;

– А вас я знаю.

Мы покраснели, потому что предпочитали, чтобы она не знала нас. В эту минуту мы хотели быть классом, а не Плуговым, Гражданином и Гусевым. В то же время боюсь, что именно эта минута предопределила появление синяков на костлявых боках Кузнецова, пусть хотя бы через год. Тем не менее она так и вошла в класс – с креном, с податливой пеной у борта. Девчонки приняли ее в силу природного любопытства; я и сегодня не знаю ни одной школьницы, для которой «Жена учителя» или наоборот «Муж учительницы», «Дом учителя» и прочая терра инкогнита не были бы более интересны, нежели сам учительствующий.

Мальчишки – да разве в девятом мальчишки! – приняли ее потому, что в ней брезжило... Впрочем, каждому брезжило свое. Плугов, например, вместо чертей стал рисовать на промокашках силуэты римлянок в очень свободных одеждах. Она легко вошла в наши ничейные воды еще и потому, что вместе с обаянием в ней была сила. Напор. Попутный ветер гудел в ее напрягшихся парусах.

Речь о Печорине – с воодушевлением, с отступлениями, со вскинутым подбородком: все ее линии, все разводы казались вычерченными по лекалу.

Речь об Ионыче.

Речь о Катюше Масловой.

Мы слушали их с удовольствием. Правда, она ждала речей и от нас и расстраивалась, когда таковые у нас не получались. Лучше всех говорил речи Плугов, потому что молчал. Он молчал, Нина Васильевна, пытаясь растормошить его, выговаривалась сама. Очень хорошо у них получалось!

* * *

Потребовала от нас не только речей: диспуты, стихи, литературные вечера, словом, пошло-поехало. И даже пригласила нас домой: Плугова, Гражданина и меня. По всем правилам педагогики. Так в один из дней после уроков мы пошли в гости, впервые за много лет, а Гражданин, пожалуй, – впервые в жизни, поскольку даже самые дальние родственники фабрикантов Шустовых, несмотря на изменившуюся социальную конъюнктуру, с ним не роднились. Мы шли по улице, по которой когда-то отправлялись на поиски Джека Паровозного Свистка. Кого, что ловили мы на сей раз?

Непоправимо отставшее детство, когда ты с пригоршней ячменя или пшеницы в кармане доверчиво бегал по родне и по чужим дворам: «Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю...»?

Или маячившую невдалеке юность?

Скорее всего Ларочку, что бабочкой-капустницей мелькала впереди нас в пыльной зелени осенних палисадов. Чертовски хорошо было бы, пользуясь официальной отлучкой из интерната, догнать ее, взять у нее портфель и увести Ларочку в кино, на последний ряд. Нельзя. Идем в гости: чинно, в одинаковых штанах, в одинаковых рубахах – не один солдат помер, – одинаково постриженные и почти ненавистные друг другу из-за этой одинаковости. В классе она незаметна, а здесь, на тротуаре, когда вокруг тебя порхают поразительные капустницы, так и лезет в глаза.

Вот и дом, в котором живет Учитель. Спрашиваем у прохожего, который час. Оказывается, пришли на полчаса раньше назначенного. Делаем три круга – городок маленький, и кварталы у него, как классики – прямо с виража втискиваемся в узкий и темный подъезд. Короткое совещание на лестничной площадке: кому звонить.

Звонить, разумеется. Гражданину.

Дверь распахивается одновременно с оглушительным звонком: наше совещание, наверное, было слишком энергичным, и его услышали в квартире – и на порог выпархивает изумленная девчонка, наша ровесница. Круглые глазищи, как два полушария, в которых ни островка суши, сплошные моря. С подчеркнутым любопытством рассматривает нас, и подавшийся было общей панике Гражданин начинает объяснять ей, что мы, стало быть, гости. Из школы-интерната номер два.

– Ах, номер два! – смеются глазищи.

– Ну да, – оправдывается Гражданин (мы с Плуговым уже проглотили языки, смирившись с тем, что никаких оправданий нашему вероломному нашествию нет). – У нас же в городе два интерната, так мы из второго...

– Ну, конечно же, я не сомневаюсь, мы вас так ждем, проходите, дорогие гости, – не давала нам опомниться девчонка.

Она нас ждет! Да если бы она хоть однажды подождала одного из нас – Плугова! Все торопилась, а Плугов все топтался на месте. Все примерялся, ходил по кругу, как колодезный конь. Так и живет до сих пор: все воротит голову, все косится в одну сторону – туда, в юность. А девчонка остается все дальше, и голова заламывается все круче.

А может, это и к лучшему? Что ни говори, а по кругу ходить проще, чем тащить, упираясь, житейскую поклажу. Да все в гору да в гору. Укатали Сивку крутые горки...

– Таня, не мучай гостей! Веди их в комнату, – позвала из глубины квартиры Нина Васильевна, и мы, мешая друг другу, ринулись на этот спасительный голос.

Наспех, чувствуя дыхание погони, здороваемся с Ниной Васильевной, с Учителем, который лежит в кровати на высоко взбитых подушках, бледный, подтаявший и умиротворенный.

Учитель спрашивает, как у нас дела, и Гражданин отвечает, что дела у нас замечательные.

Нина Васильевна спрашивает, не хотим ли мы посмотреть книжки – ими до отказа завалены соты размещившихся вдоль стен старых шкафов, и Погоня отвечает, что еще лучше посмотреть альбом семейных фотографий; «Есть очень любопытные».

Потом нас приглашают к обеду. Плугов жмется, бормочет, что мы уже пообедали, однако Гражданин наступает ему на ботинок, как на язык, и заявляет, что пообедать – это неплохо. Это мы с удовольствием.

И жрет, зараза, действительно с удовольствием. Супчики, винегретики, кролика, что там еще? Голос крови. Достойный, хотя и незаконнорожденный отпрыск рабовладельцев. Я тоже храбрился, поддерживая разговор с Учителем, который пил в кровати чай. Плугов чуть слышно скребся в дальнем углу стола.

В разгар трапезы раздался звонок в дверь, такой же оглушительный, как наш.

– Бабушка! – испуганно прошептала Нина Васильевна.

– Бабушка! – радостно завопила Татьяна и понеслась в прихожую.

Мы ее еще не видели, но слышали, как она в прихожей объявила внучке, что к какой-то Варваре Евдокимовне ее посылали совершенно напрасно. Та жива-здоровая и даже больше того – смылась в церковь послушать нового батюшку.

– Батюшку, батюшку, – передразнивала она кого-то, переобуваясь, видать, в домашние тапочки. – Смолоду за парнями бегала, и теперь туда же. Ба-а-тюшка, я ваша тетушка...

Ну-ну.

Бабушка шагнула в комнату. Древняя старуха с неожиданно черными бровями и с двумя лунками блеклой дождевой водицы под ними.

Не пей, братец Иванушка, из копытца, козленочком станешь... Смесь ведьмы и синеглазой Погони.

Увидев нас, обрадовано замерла, сделав полную полевую стойку:

– Здрасьте. Я – бабушка. В этой семье меня называют бабкой Дарьей...

(«Мама!» – взмолившийся голос Нины Васильевны. «Мама!» – выздоравливающий смех Учителя.)

– В этом доме меня называют бабкой Дарьей, – невозмутимо констатировала бабка Дарья. – Приличный народ зовет меня Дарьей Петровной. Как зовут вас, мне скажет Таня. Я тугоуха, и разговаривать со мной нужно погромче...

Мы это давно поняли. Еще лучше – помалкивать...

Бабка Дарья внимательно осмотрела застолье и сказала, что в доме, где есть девушка, молодых людей надо встречать с вином. Быстренько мотнулась в соседнюю комнату и возвратилась с двумя бутылками муската.

И был пир.

Как ни странно, рядом с бабкой Дарьей даже Плугов вскоре почувствовал себя свободным человеком. Гражданином. Гусаром. Гражданин же вообще распоясался; пустили козла в огород. Все вокруг пело, хохотало и плясало – я с Ниной Васильевной, Гражданин с Таней, Плугов, естественно, с бабкой Дарьей. Опершись на локоть, Учитель наблюдал за нами с кровати и тоже чистенько, по-стариковски смеялся.

Собственно говоря, пир начался со скандала. Притащив две бутылки вина и поставив их при общем напряженном молчании на стол, бабка Дарья еще раз ознакомилась с нашими постными физиономиями, а заодно и с нашими постными тарелками, и неожиданно обрушилась на сына и Нину Васильевну;

– Чему вы их учите? Я спрашиваю, чему вы учите молодых людей? Чистописанию, чистосъеданию и чистомолчанию...

– Бабка Дарья абсолютно права, – взвилась Погоня. – Это же сплошное чистилище, а не школа. Чистилище номер два, – уточнила она для Плугова.

– Мама! – обреченно оборонялась Нина Васильевна.

– Нет, кто же научит их смеяться, любить жизнь, пить вино и ухаживать за женщинами? Или все это вы предоставляете улице? Я уверена: никто из них не сумеет красиво открыть бутылку вина и, скажем, пригласить Татьяну к вальсу.

Тут бабка Дарья дала промашку. Не знала она, что кровь в жилах Гражданина с коньячным душком, как не знала и того, что он сам был улицей, хулиганским кварталом, который приличный народ обходит третьей дорогой.

Сама собой завелась радиола, и стареющий изгой, отставной кровосос России повел в эмигрантском танго случайную диву Парижа...

Так начался пир, так начались гражданство Плугова и анархия Гражданина.

Ах, бабка Дарья! Она сидела за столом и зорко следила, как ложится Учителю. Она плясала – ногами, глазами, плечами – и все равно следила, как там Учитель. И когда выходила из комнаты, тоже оставалась здесь, у изножья кровати. Нина Васильевна, ухаживая за нами, ухаживала за Учителем. Да и гости, наверное, были званы для него.

В доме болезнь. Многолетняя болезнь одного, ставшая болезнью всех. Она проглядывала даже сквозь здоровый – обожжешься! – румянец Татьяны: в том, как переглядывалась она с матерью, как по первому движению отца стремглав летела к кровати.

И пир был немножко с болезнью, хотя мы это поняли не сразу.

Подошел вечер. Нина Васильевна, попрощавшись с нами, заспешила в вечернюю школу, у нее были уроки. Выждав дистанцию, порхнула в дверь Погоня. Передала нам с порога прощальный привет, и Плуглов понял, что у нее свидание. У нее еще будет прорва свиданий, куча парней (с двумя или с тремя мы будем знакомы), двое мужей, но Плуглов в их число так и не прорвался: все кружит.

Правда, никто его туда и не приглашал – вот еще в чем загвоздка...

Мы тоже стали собираться домой, но Учитель удержал нас, попросил посидеть немножко с ним. Свет не включали, в комнате стояла полутьма, в полутьме шуршала бабка Дарья, присмирившая, бессловесная. На время болезни Учителю были отпущены на день две сигареты – не больше. Одну выкурил утром, сейчас настал черед для второй. Церемония второй сигареты: придвигаем к постели стул с пепельницей, бабка Дарья извлекает из шкафа пачку «БТ» и спички. Учитель прикуривает, и огонь резко освещает прикушенные щеки, смеженные глаза, чуть вздрагивающие пальцы. Затягивается, прислушивается к себе:

– А ведь, знаете, на фронте не курил, три года воевал и не курил, потому и жив остался.

– Какая же тут связь? – удивился я.

Учитель несколько раз затянулся, вновь с наслаждением прислушиваясь к себе, словно дым благодатно омывал ему самые дальние раны, и только затем повернулся к нам:

– Прямая. Положенную мне махорку отдавал товарищам по отделению. Те делили ее между собой и приговаривали: эх. Учитель, надо, чтоб ты и в этом бою выжил, все лишним табачишком побалуемся. В самом деле – убили б меня, и добавки б у ребят не было, а курящему человеку на войне крошка махорки бывает дороже крохи хлеба. Крошкой хлеба сыт не будешь, крошка махры – это, я вам скажу, праздник. С листом ее да с дымком, да с крепким словом...

Учитель вновь затянулся, вслушиваясь в свой праздник, передохнул:

– Табак перед боем давали, как и водку. Так и выжил – на благословениях. Отделение, можно сказать, трижды сменилось, а я живой. А вот в плену и курить нечего было, и карали за курение, а все равно закурил.

– Ты бы что-нибудь повеселей. Валя, – осторожно отозвалась бабка Дарья, и Учитель замолчал, затянулся и протянул пачку Гражданину:

– Вы закурите, Развозов.

– Валентин Павлович...

– Да чего уж там. Я весь вечер слышу, как от вас «Севером» тянет. Когда вас, не дай бог, переведут на две сигареты в день, вы тоже за версту табак почувствуете. Думаете, за здорово живешь пехота мне бессмертье выпросила. Знала, за что просила. Баш на баш... Тебя пугает слово «бессмертье», мама? – повернулся он к затянувшемуся темнотой углу, где опять тревожно завозилась бабка Дарья. – Я шучу, ты не волнуйся. А бессмертье – хорошее слово, только в нашем обиходе бесполезное...

Опять затянулся, и Гражданин тоже важно запыхтел сигаретой. Цену табаку знал и он. Два бычка в день – здоровая, повседневная норма Гражданина.

Уходили из гостей, когда на улице совсем смеркалось. На пороге бабка Дарья расцеловала каждого, а Гражданину вдобавок сунула какой-то сверток – позже, на тротуаре, мы обнаружили, что это пирожки с капустой. Мы лениво брели по пустому асфальту, под тусклыми звездами, что то пропадали, то вновь всплывали в черной, осенней воде меж обломками плоских, прессованных туч, неудержимо двигавшихся по всему огромному, еще не схваченному ледоставом позднего ненастья небу. Легкая элегия синих глаз, которая, что там скрывать, теплилась в каждом из нас, и очень реальный, здоровый вкус поглощаемых под звездами пирогов с капустой: хорошо возвращаться из гостей, когда тебе шестнадцать, а если точнее – когда ты вообще человек без возраста, а значит, и без заката, без старости, когда ты бессмертен. Тебе уже ведомо, что было до тебя, но из всего, что будет с тобою, твоя мудро наученная кем-то душа прозорлива только к добру.

Главное – она предчувствует всю протяженность предстоящей жизни и так внимательна, так жадна к ней, с такой любовью путается в ее мельчайших подробностях, что эта невеликая, как и все земное, тропа и впрямь кажется бесконечной.

* * *

Бабке Дарье было восемьдесят два, и она была смертна. Бабка легка, почти бестелесна – одна душа. Горбоносая, синеглазая душа. Что касается внутреннего содержания, которым столь богаты были «Т» и «К», то душа у бабки Дарьи озорно жизнелюбива. Все восемьдесят два года, все войны, пьянство покойного мужа-аптекаря, и чрезмерная трезвость единственного сына, и даже сама смерть не смогли вытоптать этого весеннего озорства.

Умерла просто. Не встала утром, и все. Семья проснулась в семь, как обычно, а завтрака на столе нет, и свежих газет нет. Осталась бабка в постели – маленькая, костлявая, отболевшая душа...

Бабка Дарья оставила завешание. Был там, между прочим, и абзац про нас. Она просила, чтобы похоронили ее не пьяные, неопрятные мужики, а мы. То есть выкопали могилу, гроб опустили, ком земли бросили. «И чтоб могилу копали весело, с песней и вообще хороните меня без горя, я свое отжила...» В благодарность за земляные работы бабка Дарья отписывала нам самое ценное в своем имуществе – золотой нательный крестик, осевший в одном из московских ломбардов во время нашего неудачного вторжения в столицу, о чем еще речь впереди.

Бабкину просьбу исполнили в лучшем виде. Февраль, зима бесснежная, но мороз давил вовсю, и земля была как чугунная: тукнешь по ней ломом, а она только прогудит в ответ. Кладбище – уютный, маленький погост маленького городка, настолько сжившегося с ним, что он стал его естественным продолжением, его тупичком, его общественным туалетом, даже автобусный маршрут и тот назван с учетом их исторического (философского!) единства: «Рынок – кладбище» – было пустынным. Копать начали с утра, часов в восемь. Сначала обильно полили отведенное нам, вернее бабке Дарье, место керосином, подожгли его и часа полтора прогревали землю. Лишь потом стали долбить ее ломом. Мы с Гражданином долбили. Плугов подчищал мерзлую глину шуфельной лопатой. Валентин Павлович, смятенный, подавленный, боялся, что мы не успеем к трем, к выносу, через каждый час прибегал к нам – а может, убегал из дома, – робко спрашивал: «Может, все-таки позовем подмогу?» Мы от подмоги отказывались, нам хотелось сделать все по бабки-Дарьиной инструкции. Поскольку петь в мороз сложновато – с погодкой бабка Дарья не подгадала – приволокли с собой патефон. Он стоял на краю могилы, рядом с бутылкой водки и незамерзающей закуской – салом (и то, и другое принес Учитель), и популярные певицы и певцы шестидесятых, ежась от собачьего холода, выходили к могильной черте (им такая рампа, наверное, и не снилась) и отпевали бабку Дарью. «...В болотных сапогах не по ноге девчонка из геологоразведки шагает по нехоженой тайге». Или: «Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот...»

Это было настолько богохульно, что кладбищенская служительница, та самая, что отмеряла место для бабки Дарьи и сама на нее похожая, тоже уже из-за поворота – такая же горбоносая и горбатенькая, но начисто лишенная бабки-Дарьиного озорства – высунулась из своей сторожки, приковыляла к нам и, стоя на краю могилы в блистательном обществе Эдиты Пьехи, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, яростно трясла над нашими головами своей суковатой клюкой. Вылитый Георгий Победоносец! Снизу, из заглубившейся наконец могилы, объяснили старухе, что являемся не богохульниками, а добросовестными исполнителями воли усопшей.

Старая нам не поверила. Ширяла палкой в патефон, произносила непотребные слова, и ей пришлось налить сто граммов для успокоения уязвленной богобоязненной души.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.